

Конст. Федин

*Государственное
издательство
художественной
литературы*

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

**Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959**

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

Повести и рассказы

БАКУНИН В ДРЕЗДЕНЕ

Сцены

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Примечания
Б. БРАЙНИНОЙ

Оформление художника
В. МАКСИНА

АВТОБИОГРАФИЯ

Все мое детство, от рождения в 1892 году, и ранняя юность, до 1908 года, протекали в Саратове, который у нас в семье влюбленно называли «столицей Поволжья». Сейчас я как будто ярче прежнего вспоминаю свою родительскую семью то в одной, то в другой крошечной квартирке и детские впечатления от Волги с ее неповоротливыми пароходами, бесконечными вереницами плотов, просмоленными рыбацкими дощаниками и окрестными фруктовыми садами деревьев. Отсюда пошли мои первые представления о русской земле — как о Море, о русском народе, как о Человеке. Здесь складывались начальные понятия о прекрасном — из картинной галереи Радищевского музея, где было много отличных русских мастеров и западных художников — барбизонцев, собранных известным Боголюбовым; из школьных спектаклей, в которых участвовал и я; из драматических и оперных театров; из уроков на скрипке, которые мучили меня и одно время совсем охладили к музыке.

Я начал себя помнить с четырех лет. Мы жили тогда на Плац-параде — большой пыльной площади, где в длину приземистых артиллерийских конюшен стояли зеленые батарейные орудия, издалека направленные дулами на наш деревянный «флигер» в три окошка.

Отлично вижу прохаживающегося перед пушками солдата при шашке наголо и крупных короткохвостых коней, которых гоняют на корде в облаке пыли.

Раз вечером вся площадь осветилась прыгающими языками огней в черном дыму: жгли вонючие керосиновые плошки, и люди бродили вокруг, вдыхая чад и копоть. Это была городская иллюминация, устроенная для «гулянья» в тот день, когда в Москве Николай II «отпраздновал» свое коронование трагической Ходынкой, так много сказавшей о царе русскому народу. Начиная с этих плошек, я припоминаю все больше подробностей детской жизни.

В 1899 году я пошел в начальное училище, где одним из учителей был дядя моей матери, Семен Иванович Машков, у которого она провела девичьи годы перед замужеством. Дом Машкова был очень близок нашей семье, но отличался от нее прежде всего тем, что стоял гораздо выше по культуре. Здесь велись самые горячие разговоры взрослых, какие мне доводилось тогда слышать, читались газеты, чего я в ту пору совсем не видел дома, собирались учителя, студенты (студентов тоже не бывало у нас), и почти всегда мой отец иступленно спорил при таких встречах, ссорился и уходил домой. Жизнь Машкова представлялась мне очень стройной, ясной, внушала что-то поэтичное, и это чувство укреплялось моей матерью, относившейся к своему дяде с обожанием.

Семи лет я начал учиться играть на скрипке. С перерывами эта школа продолжалась, кажется, до 1906 года, когда я решил серьезно заняться музыкой, поступил в консерваторию, но вдруг возненавидел занятия в ней и перестал играть. Спустя двадцать лет, рассказывая о Никите Кареве в романе «Братья», я вспоминал о ранней своей любви и о ненависти к скрипке.

В 1901 году я поступил в коммерческое училище. Память об учении в нем сохранила мало хорошего. Но в его стенах я испытал с товарищами переживания, которые принесены были русско-японской войной и особенно революцией. Открывался впервые волнующий реальный мир над пределами наших ребяческих фантазий, над уроками и учебниками.

Мир этот был связан для меня с самым ранним впечатлением больших уличных событий, которые я

нечаянно наблюдал, — с разгоном демонстрации протеста против казни студента Балмашева в 1902 году, убившего министра внутренних дел Сипягина. Осенью 1905 года мне еще не исполнилось четырнадцати лет, но я был охвачен общим возбуждением; вместе со всем классом участвовал в ученической «забастовке»; ходил с товарищами в 1-ю гимназию (где с лишним полвека назад преподавал Чернышевский) — «снимать» с занятий гимназистов; убегал дворами от оцепивших гимназию казаков.

Отец смотрел на мое поведение как на опасное озорство и внушительно призвал меня к послушанию. Однако в это время у меня появился первый шанс в самообороне от отцовских назиданий: он сам не переставал возмущаться погромами, черносотенством. Когда в доме губернатора Столыпина был убит жестокий «усмиритель» саратовских крестьян генерал Сахаров, отец обошел событие суровым молчанием, — «устон», в которых держал он семью, не позволяли ему одобрить террористический акт, но казней и бесчеловечности усмирения крестьян он тоже не мог простить.

Моя мать, Анна Павловна, урожденная Алякринская, дочь народного учителя, воспитанная своим дедом-священником в глуши Пензенской губернии, внесла в дом уклад русских духовных семей. Отец, Александр Ерофеевич, был сыном крепостного крестьянина, родом тоже пензяк, учился торговле, служил «мальчиком», затем приказчиком у купцов и впоследствии стал торговцем-писчебумажником. Он был самоучкой, до женитьбы пробовал писать стихи и всю жизнь имел слабость к немудрящей рифме, собирал религиозные книги, любил церковность и в этом смысле жил в полном согласии с матерью, хотя характеры их были резко различны. Быт был строгий, заведенный отцом раз навсегда, как календарь. Во всем ощущалось принуждение. К пятнадцати годам дом показался мне невыносимым гнетом, я стал очень худо учиться и в декабре 1907 года бежал в Москву, заложив в ломбарде свою скрипку.

Один мой школьный товарищ, учившийся живописи и когда-то заразивший меня тягой к малеванию маслом, приютил меня в своем подвале, на Кисловке, и мы вместе мечтали, что я тоже буду художником, а пока я служил ему натурой, стоя посередине мрачной комнаты в позе Бонапарта. Вскоре отец разыскал меня и мирно увез домой, взяв с меня обещание работать в его магазине. Летом 1908 года я сделал еще попытку бегства — на лодке вниз по Волге, но не довел отчаянного предприятия до конца, вернулся домой и вскоре настоял на том, чтобы продолжать образование. Мать оказалась мне в этом доброй опорой, чем была всю свою не очень легкую жизнь. Думаю, что только благодаря ее чуткой воле я не сбился с пути.

Три следующих года были лучшими в моей юности — старшие классы коммерческого училища в Козлове (Мичуринске). Я жил теперь один, в обстановке, не тяготившей меня воспоминаниями о Саратове, где все смущало мою совесть — побег, прерванное ученье, и отошедшие от меня товарищи, и работа в магазине.

Я многим обязан козловским педагогам, особенно словесникам, как тогда называли преподавателей русской литературы. Классные занятия выходили за рамки программ, — мы читали сборники «Знания», писали сочинения о русских «модернистах», об Ибсене, и это открывало нам взгляд на литературу как на цепь меняющихся в борьбе живых явлений, а не схоластический школьный «предмет». Новыми глазами я перечитал то, что прежде меня оставляло равнодушным, и скоро нашел в книгах ни с чем не сравнимую отраду.

Здесь, в Козлове, я и начал мечтать о писательской работе.

В 1911 году я поступил на экономическое отделение Московского коммерческого института. Студенческие годы заполнены были уже созревшим стремлением писать. Первый рассказ был сочинен еще летом 1910 года, в Уральске, где я гостил у сестры. Это было подражание Гоголю, — его «Шинель» остава-

лась надолго одним из глубочайших моих внутренних потрясений. Я понял, что это — подражание, много позже, в зрелые годы, а когда писался рассказ, мне чудилось — я пою, как птица. Я отправил тогда эту птичью песню из Козлова в Петербург, в «Новый журнал для всех», и перенес первое, столь хорошо знакомое новичкам-сочинителям, горе: журнал возвратил мне рукопись без всякого ответа. Только в 1913 году и начале 1914-го были напечатаны в петербургском «Новом сатириконе» Аркадия Аверченки мои «мелочи» и стихи, — до этого следовала неудача за неудачей.

Весной 1914 года я поехал в Германию с целью усовершенствоваться в немецком языке и поселился в Нюрнберге. В деревне Штейн, рядом с дворцом Фабера, я заработал первые пять марок — скрипичной игрой на крестьянской танцульке вместе со своим приятелем, народным учителем, который мне аккомпанировал на рояле. Больше мне скрипка никогда не пригодилась.

Я был застигнут в Баварии войной, пытался пробраться на родину, но по дороге, в Дрездене, меня задержали как гражданского пленного. Из Дрездена я вскоре был выслан.

Мне пришлось жить интернированным в Саксонии и Силезии почти до самой германской революции. Я давал уроки русского языка, служил хористом и актером в театрах Циттау и Герлица, продолжал писать и сочинил первый свой роман «Глушь», который впоследствии уничтожил.

Литературные средства мои были переменчивыми, оставаясь наивными, — я пытался сочетать бытописание с психологизмом, увлекался прежде всего Достоевским, затем скандинавцами, особенно Стриндбергом и Бьёрнстерне-Бьёрнсоном, наконец — экспрессионистами с их ранним журналом «Die Aktion». По настроению журнал был интернационален, позиция его приближалась к немецким спартаковцам, молодых представителей которых я встречал в Саксонии, а затем ближе узнал во время первого посещения

Берлина, летом 1918 года, когда среди населения уже начинал сказываться протест против войны.

Я был приглашен на службу в качестве переводчика в первое советское посольство в Германии, но немецкие власти, узнав об этом, поспешили включить меня в обменную партию пленных — после пятидесяти месяцев подневольного моего положения «враждебного иностранца».

Вернувшись осенью этого года в Москву, я проработал некоторое время в Народном комиссариате просвещения. Это было трудное время, — следы послевоенной разрухи были глубоки, голод давал себя знать слишком сурово. Вскоре мне представилась соблазнительная возможность работать хотя бы из провинциальной печати, и я поехал в начале 1919 года на Волгу, в Сызрань. Здесь, при отделе народного образования, мной был основан небольшой литературный журнал, где печаталась местная советская молодежь и некоторые «писатели из народа» (как именовались последователи поэта Сурикова), присылавшие свои рукописи из Симбирска, Самары, Суздали, Твери и т. д. Я редактировал газету «Сызранский коммунар», работал секретарем городского исполкома, с жаром отдаваясь жизни, полной ломки, новшеств и мечтаний, которые, будучи «уездными» по масштабу, внутренне были для меня огромны, как революция.

Короткие месяцы работы в Сызрани оставили сильный отпечаток на всем моем жизненном пути. Кроме выучки газетчика, которому приходилось писать всё — от передовых статей и фельетонов до театральных и книжных рецензий, или вести, наряду с городским репортажем, международный обзор, — революционные поволжские события 1919 года дали мне неиссякаемый материал для писательского труда. Перед тем почти пятилетие оторванный от родины и вынужденно замкнутый в себе, я очутился в мире общей борьбы за социалистическое будущее народа и быстро проходил свою начальную школу общественной жизни.

Осенью я был мобилизован на фронт и очутился в Петрограде — в самый разгар наступления Юденича. Сначала меня направили в Отдельную башкирскую кавалерийскую дивизию, — здесь я заведовал экспедицией, снабжая печатью четыре полка дивизии, сражавшихся на фронте. Потом я был переведен в редакцию газеты 7-й армии «Боевая правда», где и проработал помощником редактора до начала 1921 года.

Ленинград занял исключительное место во всем моем существовании. Воздействие его на сознание нельзя назвать иначе, как поэтическим. Традиции в области искусства и культуры труда, вековая романтика революционной борьбы, слава Октября и тот патриотический характер ленинградца, который известен повсюду, — все здесь создано для того, чтобы верить в жизнь и ценить ее дары. В Ленинграде я прожил, если не считать заграничных поездок, восемнадцать лет и глубоко дорожу тем, что мною почерпнуто в его революционной культуре.

В 1920 году я познакомился с Горьким. Нынче, когда прошло больше трех десятилетий с того памятного февральского дня, я могу сказать еще убежденнее, чем раньше, что факт этого знакомства с Горьким сделался громадным событием моей писательской жизни. Первая же встреча с ним положила начало сердечному общению, длившемуся до его смерти.

Живой Горький с его обаянием, его художническим и моральным авторитетом нередко бывал первым судьей моих рассказов и повестей. Его роль в формировании зарождавшейся советской литературы 20-х годов огромна, его участие в писательских судьбах часто определяло все дальнейшее развитие дарований и украшало путь молодого литератора.

Горький никогда не уставал пробуждать в писателе интерес к жизни, обращать его взор на действительность. Это воздействие его было благотворно и для большинства писателей из кружка «Серапионовы братья», к которому я принадлежал. Этот кружок был выразителем формалистических тенденций в

буржуазной литературе, в первую пору остро и вредно сказавшихся на молодых писателях — «серапионах», вслед за «формальной школой» рассматривавших всякое литературное произведение не как отражение действительности с ее общественной борьбой, а только как «сумму стилевых приемов». Горьковское начало, служившее нравственной и эстетической опорой в те ранние годы моей работы, помогло мне и сохранило свое значение для меня на всю жизнь.

Вопросы искусства меня всегда волновали не только отвлеченно, но в жизненной практике: человек искусства, художник в обществе. Пока я пришел к пониманию искусства, сложившемуся у меня со временем, я много бродил по перепутьям, и эти перепутья — история становления писателя.

По-настоящему биография художника должна быть не описанием фактов его бытия, но объяснением того, как поняты им эти факты. Красочность фактов сама по себе недостаточна для жизнеописания, — для него нужен ясный взгляд на пережитые заблуждения. Но попытки увидеть себя со стороны трудно удаются, и чем объективнее хочет быть писатель, тем, очевидно, больше его автобиография должна перерасти в повествование.

Однако не сказать хотя бы бегло о своих заблуждениях в вопросе, который занимал исключительное место в моей литературной работе, я не могу. Я долго жил с ошибочными представлениями о «специфическом» в искусстве, и две из моих ошибок должны были существенно мешать и мешали работе.

Я думал, что между отражением в литературе действительности и «чистым вымыслом», фантазией писателя существует коллизия. На самом деле такой коллизии в искусстве реалиста нет. Горький очень точно писал мне в одном из писем, что художественный образ вовсе не является «чистым вымыслом», что он — «...именно та подлинная реальность, которую создает лишь искусство, та «вытяжка» из действительности, тот ее сгусток, который получается в результате таинственной работы воображения художника». По слову Горького, черты героя, встреченные

в тысячах людей, — «пыль впечатлений», слежавшаяся в камень, превращается художником в то, что я называл «чистым вымыслом».

Отражение действительности в образе не находится в столкновении с фантазией художника. Правда образа обуславливается тем, насколько фантазия гармонирует с действительностью, способствует ее отражению.

Умозрительно понять это, может быть, совсем не сложно. Но ухватить чувственно, писательским опытом — как в произведении сделать органичным образ, возникающий из наблюдений реальной жизни, — это было трудно.

Другой ошибкой было мое представление (возможно, не всегда осознаваемое), что задача писателя состоит в выработке раз навсегда определенных качеств. Между тем качества писательского искусства беспрерывно видоизменяются в связи с общественным развитием классов и нации в целом, с движением истории и в зависимости от материала, которого художник касается.

Противоречие, в котором шли мои уже многолетние поиски, заключалось в следующем. С одной стороны, во мне жило предубеждение, что существуют раз навсегда созданные искусством формы. С другой — я легко отвергал эти формы, как мертвые. Задача же состояла в том, чтобы конкретно (то есть применительно к своей работе) увидеть формы в их развитии и признать их нераздельными с общественным содержанием искусства.

Эти и многие иные поиски нужных писателю решений Горький облегчал мне со всею щедростью своей великой души.

В течение шести лет, с конца 1919 года, я был тесно связан с ленинградской журналистикой, печатал статьи, фельетоны, рассказы, редактировал (1921—1924) критико-библиографический журнал «Книга и революция». Рассказы мои, опубликованные в газетах того времени, гораздо больше отражали впечатления действительности — войну и революцию, чем первый мой сборник, вышедший в 1923 году.

На этой книге («Пустырь») сказались все тормозы, замедлившие мой рост, — за мной все еще тянулся накопленный до войны старый материал, не переработанный воображением, не воплощенный в меру сил, какими я обладал. Надо было сделать большое усилие, чтобы наконец от него освободиться. «Пустырем» я ставил точку на своих несбывшихся ожиданиях со времени первого рассказа, возвращенного мне редакцией, до первого романа, уничтоженного мной самим.

С 1922 до 1924 года я писал роман «Города и годы». Всем своим строем он как бы выразил пройденный мною путь: по существу это было образным осмысливанием переживаний мировой войны, вынесенных из германского плена, и жизненного опыта, которым щедро наделяла революция. Форма романа (особенно — его композиция) явилась отражением тогдашней литературной борьбы за новшества. Собранные мною в плену газетные вырезки и по виду ничтожные документы германского военного быта выполнили свою службу, помогая воссоздавать картину пресловутого прусского филистерства, национальной нетерпимости, опьянения кровью и наконец жестокого разочарования немцев после разгрома и бегства Вильгельма. С приходом к власти Гитлера немецкий перевод этого романа был сожжен в Германии вместе с другими книгами, разоблачавшими первую мировую войну.

В 1923—1926 годах я подолгу жил в лесных глубоких заповедниках старого быта Смоленского края, где лишь медленно назревали события, которым предстояло вырасти до размеров социального переворота во всем крестьянстве спустя два-три года. Сборник повестей и рассказов «Трансвааль» остался памятью этого периода моей жизни.

Еще не один раз мне довелось наблюдать Западную Европу. В 1928 году, окончив роман «Братья», я совершил большую поездку в Норвегию, Голландию, Данию, Германию, в период наивысшей «стабилизации», и видел Запад веселящимся, закрывшим глаза на горе мира.